



Михаил Осоргин
«Пенсне»

Михаил Андреевич Осоргин - Пенсне

Что вещи живут своей особой жизнью — кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется, раздвинутые ножницы кричат, кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках. Шляпа, висящая на гвозде, непременно передразнивает своего владельца, — но лицо у нее свое, забулдыжно-актерское. У висящего пальто всегда жалкая душонка и легкая нетрезвость. Что-то паразитическое чувствуется в кольце и особенно в серьгах, — и к ним с заметным презрением относятся вещи-труженики: демократический стакан, реакционная стеариновая свечка, интеллигент-термометр, неудачник из мещан — носовой платок, вечно юная и суетливая сплетница — почтовая марка.

Отрицать, что чайник, этот добродушный комик, — живое существо, может только совершенно нечуткий человек; именно чайник, так как кофейник, например, живет жизнью менее индивидуальной и заметной.

Но особенно меня всегда занимала одна любопытная черточка в жизни вещей — не всех, а некоторых. Это — страсть к путешествиям. Таковы: коробка спичек, карандаш, мундштук, гребенка, шейная запонка, еще некоторые. Много лет внимательно и любовно изучая их жизнь, я сначала предположил, а впоследствии убедился, что эти вещи время от времени уходят гулять — на минуту, на час, иногда на очень долгий срок. Есть случаи исторические (семисвечник, голубой бриллиант, исторический труд Тита Ливия и пр.), но в таких исчезновениях отчасти замешана человеческая воля, случай, злой умысел; на примере мелких вещей легче установить полнейшую самостоятельность поступков.

Обычно такие исчезновения мы объясняем то своей рассеянностью, то чужой неаккуратностью, а нередко и кражей. Раньше я и сам так думал, и, не приди мне в голову понаблюдать жизнь вещей без предвзятого представления об их пассивности и "неодушевленности", — я бы и посейчас думал так элементарно.

Все читающие в постели знают, с какой настойчивостью "теряется" в складках одеяла карандаш, разрезной ножик, коробка спичек. Привычным жестом вы кладете на одеяло карандаш. Через минуту — карандаша нет. Вы шарите, ищите, злитесь: нет и нет. Откидываете простыни, смотрите под подушкой, на коврик, на столике: нет нигде. Ворча встаете, лезете в туфли, заглядываете под постель, находите там спички, запонку, открытое письмо — но карандаша нет. Ежась от холода, вы плететесь к столу, берете другой карандаш (обычно он оказывается неочиненным), чините его, возвращаетесь. Подоткнув под себя одеяло, чтобы согреться, вы наконец берете книжку, отложенную потому, что нечем было отчеркнуть нужное место. Раскрываете книжку — карандаш в ней.

Ясно, что сам попасть он в нее не мог, — но не менее ясно, что вы его туда не положили, не могли положить.

Обычно мимо таких фактов проходят, не придавая им значения. Напрасно! Вглядывайтесь внимательнее, и вам откроется целый новый мир вещей, живущих параллельно той жизни, которую мы для них выдумали.

Я помню поразительный случай с моим пенсне: простое пенсне, без оправы — два стекла и легкая

дужка.

Сидя в кресле у стены, я читал; на новой главе хотел протереть стекла, вынул платок, и вдруг — пенсне исчезло. Опытный в этих делах, я обыскал не только все карманы, складки одежды, щели в кресле, маленький столик рядом, листы книжки — все решительно. Пенсне не было нигде; не быть и раньше не могло, так как я очень дальновзорок и мелкой печати без стекол не разбираю.

Не подумайте, что пенсне мое оказалось на носу; в таких случаях я прежде всего ощупываю переносицу; на ней были две свежие ямки — и ничего больше. Я отодвинул кресло, осмотрел на нем все кисточки и пуговики, о которых Козьма Прутков сказал, что они выдуманы самым глупым на свете человеком, — и все бесплодно.

Это было настолько чудовищно и нелепо, что я разделся, встряхнул одежду, сам подмел паркет от стены до самой середины комнаты. Усомнившись в себе, я обыскал письменный стол в соседней комнате, заглянул на вешалку, стыдливо пробежал глазом по ванной — все было напрасно.

Тогда я вспомнил, что ясно слышал звук падения пенсне; я еще порадовался, что — судя по звуку — оно не разбилось. И вот я снова ползаю по полу, смотрю сбоку, смотрю снизу, смотрю сверху, топаю ногами — чтобы хоть раздавить его, проклятое, и наконец успокаиваюсь. Ни-ка-ких!

Так и исчезло — как провалилось. Но в паркете не было ни единой щелочки.

Прошла неделя или больше. Про этот случай я не забыл и много раз о нем рассказывал, показывая и место происшествия. Как обычно, скептики смеялись, практики перещупывали кресло и осматривали пол, прислуга перетерла тряпочкой все предметы, вымела все пылинки и даже вымыла черную лестницу (до следующего этажа). Вся квартира обновилась, посвежела — но пенсне не было.

Один мой знакомый, заинтересовавшись случаем, хотел дойти до разгадки индуктивным способом. Он записал номер пенсне, начертил план комнаты, отметив расставленную мебель, спросил, нет ли у меня в квартире обезьяны, кошки или сороки, где я провел вечер накануне, — и целый день мыслил, пользуясь главным образом, методом исключения. К вечеру, недоверчиво и недружелюбно подав мне руку, он ушел. Жена его рассказывала потом, что он стонал всю ночь. Раньше это был спокойный человек, умеренных политических убеждений, знаток испанской литературы.

И вот сидел я однажды в том же кресле у той же стены, лишь с другой книжкой, по обыкновению отчеркивая карандашом наиболее умные и наиболее глупые места. На носу у меня было уже другое пенсне, новенькое, тугое, раздражающее. И вдруг — раз! — и падает карандаш. Перепуганный (не шутя! тут любопытнейшее психическое переживание!), я бросаюсь вдогонку. Мне почему-то представилось, что и карандаш должен бесследно исчезнуть. Но он лежал спокойно у стены, и... рядом с ним, смиреннько, плотно прижавшись стоймя к стене, блеснули два стекла с тоненькой дужкой.

Вы можете, конечно, смеяться и утверждать, что я слеп (это неправда! я дальновзорок, но вижу отлично), что слепы все мои знакомые, слепа прислуга, ежедневно подметавшая каждый вершок пола, что это просто курьезный случай и прочее. Реалистически мыслящий человек имеет на все готовый ответ. Но нужно было видеть физиономию моего пенсне, вернувшегося из дальней прогулки, чтобы понять, что это — не случай и не недоглядка.

Еще поблескивая мутными, запыленными стеклами, жалкое, виноватое, словно вдавленное в стенку,

оно являло картину такого рабского смирения, такой трусости, точно не оно — наездник моего носа, точно не я без него, а оно без меня не может существовать.

Где оно шлялось? Что оно перевидало (конечно, в преувеличенном виде!)? И чем объяснить такую странную привязанность вещей к человеку, заставляющую их возвращаться, хотя бы им удалось так ловко обмануть его бдительность?

На все эти вопросы ответить трудно. Но что пенсне мое гуляло, и гуляло долго, до изнеможения, до пресыщения и страшной душевной усталости,— в этом я, свидетель его возвращения, сомневаться не могу.

Я сильно наказал гуляку. Я заставил его простоять у стены еще несколько часов, показал его прислуге, знакомым, от которых, впрочем, не услышал ничего, кроме плоских рационалистических рассуждений о том, как оно "странно упало". Действительно, странно! Почему-то с людьми этого никогда не случается!

Мой знакомый, знаток испанской литературы, несколько позже довел до моего сведения, что в цепи его логических рассуждений была допущена ошибка: он искал пенсне, как предмет плоский (?!), лишь в двух измерениях, между тем как оказалось оно именно в третьем. По-моему, это — чепуха.

Между прочим, кончилось это пенсне трагически. В тот же вечер, сняв с верхней полки пыльную папку рукописей, я чихнул; пенсне упало плашмя на пол и разбилось в мельчайшие осколки.

Пусть это будет случайностью — мне так легче думать. Я был глубоко огорчен, если бы были объективные данные считать этот "случай" самоубийством. И что могло побудить эту в сущности своей кристальную душу на роковой шаг? Прогулка по свету? Преувеличенный на одну диоптрию взгляд на мир? Или тот публичный позор, которым я обставил возвращение моих загулявших стеклышек?

Мне жаль бедняжку! Мы долго жили дружно и вместе прочли много добрых и глупых книг, в которых людям приписываются и страсти, и разум, и сознательность поступков, а вещам отказывается в праве на малейшее волеизъявление, на мельчайшее проявление индивидуальности.